

В. Гриненко

Красивый вираж

После долгих полутора лет боев мы неожиданно оказались в стратегическом резерве. Весь корпус, знаменитый восьмой.

Полки, побатальонно, были разбросаны по деревням и селам в районе Ровно, Воляни. Отдыхали, мылись, латались, учились, отъедались и отсыпались.

Ждали Пасху. В страстную среду, в час ясного и радостного восхода солнца, возмолотившего красный угол в нашей хате на краю села, вдруг коротко пробарабанила очередь полевой батареи. Очередь накрылась очередью, другой, третьей—все торопливей и сбивчивей.

Я сел на постели, и невольно насторожился. Вдали затопали вперевой разрывы, судя по звуку—в небе.

Мой младший офицер, хорошенький, капризный прапорщик Лялин, вскочил от следующей очереди:

— Что это? В пятнадцати верстах от фронта?? Прорыв? Обошли?!.. Да что вы смеетесь, черт меня побери!

В белье, в шинелях внакидку бежим на двор. Утро было свежее. Прямо против хаты, на юго-восток, в ясном бледном небе розовели на солнце дорожки пушистых дымков. Батареи грохотали. Появлялись новые и новые дымки, как волшебный фейерверк. Но вот к батареям пристал пулемет и неровно затывкали среди веселого грохота пушек...

В коротких перерывах канонады удалось уловить переливчатый гул мотора...

А вот аппарат. Он шел в стороне от дымков и, казалось, вся пальба была для него забавой: спокойный уверенный лет.

Я телефонисту:

— Спроси чай.

Шебуев побежал в сенцы, и тревожно закликал штаб полка.

Мы глядели в небо. Различили еще один аппарат. Он шел не так уверенно, и неуклюже сторонился возникающих на пути дымков. Еще минута, и оба оказались разделенными усилившимся обстрелом и потянулись в разные стороны. Дымки тотчас же принялись их настигать.

Вокруг, из всех деревень сыпалась пулеметная и ружейная дробь; орудийный грохот разливался все шире, как бушующее пламя пожара. В воздухе засвистели излетные пули. Лялин мучительно топтался на месте, торопливо переставлял окуляры бинокля, глядел вверх, что-то бормотал и явно волновался. Наконец, не выдержал и затрепетал:

— Да ведь это же наши! Как пить дать—наши!.. Ахх!.. Опять... Ведь своего

собиют. Это же преступление! Черт знает что творится!

Он побежал в сени. Столкнулся с Шебуевым:

— Ну что? Свои?

Телефонист взял под-козырек:

— Так что, ваше благородие, штабу полка ничего не известно; из штаба дивизии никакого предупреждения не было. Должно, говорят, австриец аль герман.

Лялина просто взорвало:

— Да наплевать что предупреждения не было! Проспали! Это наверное наши. Видно же... Господин поручик! Что будет? Ведь... Глядите!—под самым крылом разрыв... Ахх! Опрокидывается!.. Вот и доигрались...

Аэроплан круто качнулся, но выровнялся и закруглил ход. Мотор работал ровно. Аппарат пошел прямо на нас. В бинокль были ясно видны на крыльях наши опознавательные знаки. Брало сомнение. Но все же я проворчал:

— Да вы-то чего волнуетесь?.. Пусть не лаят без законного предупреждения о вылете. Приказ читали небось? Ну вот... Фельдфебель! Дежурный взвод к станку!

— Слушаюсь!.. Второй взвод—в ружье!

В моей роте было все приготовлено к стрельбе по аэропланам, согласно недавней инструкции штаба армии: высокий станок вроде длинной виселицы для стрельбы стоя в небо целым взводом; люди обучены; дежурные взводы всегда на местах; ожидалось крупные налеты противника на тылы.

Аэроплан приближался. Дистанция показалась мне подходящей. Грохот вокруг продолжался—и бухающий, и стрекочущий,—все нежное утреннее небо было задымлено. Я двинулся к станку, и Лялин взмолился:

— Неужели стрелять будете? Алексей Петрович!

— Залпами. По инструкции.

Взвод бодро выстроился у станка.

— Здорово молодцы второй!

Четкий залп ответа.

— Взвод к станку! По аэроплану!

Гул короткого бега. Звенящий шорох заряжающихся.

— Прицел—десять! Вперед на два аппарата! Взвод... Пли!

— Пра!

Сухой шорох затворов. Звон падающих гильз. Мотор жужжит ближе. Снаряды рвутся над нашими головами высоко в небе.

— Спокойно... Не рви... Взвод... Пли!

— Ра!
— Взвод... Пли!
— Ра!

Аппарат вздрогнул, закачался; мотор смолк; но вот машина отчаянным усилием молодцевато выправилась и пошла широкой размашистой дугой на ускоряющийся спуск, точно громадная раненая птица...

Лялин, бледный, пристальный, трепетно глядел вслед, и невольно улыбнулся:
— Какой красивый выраж... За-ме-ча-тельно...

Вокруг все смолкло. Излетные пули, осколки, трубки все еще то тут, то там повсвистывали, шипели, визжали, и звонко целовали влажную весеннюю землю.

— Взвод! Вынь патроны!

Дружно щелкнули затворы; из магазинных коробок посыпались, звеня, остатки боевого заряда.

— Спасибо молодцы!

— Рад стра ваш бродь!

Веселы молодые лица; глаза играют торопливым задором, точно все они, сорок человек, только что разом отплясали трепака.

— Фельдфебель! Роту на молитву!

Я взглянул на Лялина. Он шел рядом, в хату, осунувшийся, понурый. Так было всегда: каждое прикосновение войны с ея живым, сильным и горячим беззаконием отравляло его женственную душу; а прощиться в тыл он считал постыдным.

— Ну что, Лялинька? Снова мехлюди?.. Бросьте!.. Вот лучше скажите, где ваш коньяк?—что-то холодновато...

В хате сиял мой денщик Иван, земляк мне.

— Чем так доволен?

— Ну и здорово-ж залпувалы, вапа благородия! Аж закрутивсь!

— Закрутишьсь...

На столе уже дымилась поджаренная колбаса; из котелка домовито подымался пар над чаем. Со двора понеслось торжественное пение молитвы Господней, и стало тепло, просто, уютно.

Наскоро умывшись, я сел за стол. В красном углу мрачно сидел Лялин: грыз ногти и безцельно глядел за окно. Хозяйка-баба вздыхала и вздыхала у печки: мой каптенармус Коростылев уехал в отпуск...

От недавнего легкого напряжения слегка дрожали руки, и колбаса не сразу падала на вилку. Несмотря на явно „георгиевское дело“, у меня, после первой рюмки, почему-то заскребли по душе непрошенные кошки. Но скребли, к счастью, недолго: со второй рюмкой стало как-то легче, а третья установила душевное равновесие.

К концу завтрака прибежал Шебуев:

— Так что, ваш бродь, штаб полка к телефону просят.

— Кто?

— Их высокоблагородие капитан Шишкин!

Разговор с адъютантом полка был короткий: „Кто стрелял залпами из вашей деревни?“—Я.—„Немедленно пожалуйте в штаб: свой аппарат скovyрнули“...

Из соседней роты прискакал всегда веселый и грубоватый подпоручик Никитин. Захлебываясь сообщил новости. Уже все известно: аэроплан сел у соседней деревни; летчик чудом цел и невредим, но перепуган за истерзанный пулями мотор и крылья аппарата, и, конечно, возмущен за себя; разстроился и встретил грубостями начальника штаба дивизии, подъехавшего к катастрофе, разругался, кажется даже арестован... Кто виноват в неподаче всем частям своевременного предупреждения о вылете из штаба корпуса двух машин—не установлено; а в общем—большой скандал: узнал Брусиллов, и приказал немедленно доложить все обстоятельства. Спешно назначена комиссия из штаб-офицеров двух наших дивизий.

Никитин потряс мне напрощанье руку, и закончил весело:

— Подать сюда Тяпкина-Лянкина!

...
Быть грозе...

Путь в штаб полка был короткий,—через поля в соседнее село. Мой застоявшийся и отъевшийся Золотой нес меня радостной рысью по душистой весенней дороге; вокруг цвела наша русская, ласковая и страстная весна; носились и пели птички. Мысли мои были довольно спутаны, и самочувствие не совсем ровное: во-первых, „георгиевское дело“ явно не состоялось, и, во-вторых, еще пожалуй влетит от начальства „за излишнее рвение“... Так было, так будет. Впрочем... При чем тут я? Палил весь корпус, и начала палить артиллерия. Что тут мои три залпа?..

Все это было верно, однако, с приближением хаты штаба полка, у которой стояла толпа разномастных и разносидельных лошадей, мои молодые нервы натянулись.

В штабе уже съехалась комиссия и прибыли все батальонные и ротные командиры полка. Я вошел в полутемную горницу при гробовой тишине. Командир полка безпокойно выслушал мой явочный рапорт, и тот-час же грозно и торжественно ко мне:

— Стреляла ли шестая рота залпами по аэропланам?

— Так точно, господин полковник, второй взвод.

Командир передёрнул короткими усами.

— Кто командовал?

— Я, господин полковник.

По горнице прошел осторожный шорох

голосов. Командир полка смотрел на меня молча, и медленно багровел. Комиссия коротко и весело пошептала: виновный найден, не надо день целый по корпусу разъезжать. Командир полка, наш славный „Берендей“, вдруг просто взвыл:

— Кто вам приказал стрелять?! Как вы смели? Кто разрешил?—Под арест!.. Вашу пашку. Капитан Шишкин! Под арест поручика.

Председатель комиссии крикнул и пробасил:

— Домашним-с, домашним-с, господин полковник, ГММ, тово...

Не понимая что делаю, я отстегнул пашку и протянул адъютанту. Берендей сумрачно поглядел на меня и, как будто, покачал укоризненно головой. Это был добрый знак. Но мне не стало легче: жгучая обида сдавила горло; я был нем и превратился в столб. А полковник вычитывал адъютанту:

— Сегодня же в приказ: поручика Кошачевича—домашним арестом, до распоряжения. Шестую роту принять прапорщику Лялину... Господа офицеры, прошу к своим делам.

Все шумно встали. По комнате прошел вздох облегчения, и сдержанный говор потянулся за дверь, в сенцы, на двор...

В первый раз в жизни я не понимал как вышел из-под крыши на свежий воздух. Пошатываясь от головокружительного негодования, я отвратительно взобрался на коня и шагом выехал со двора. На повороте сильно пошатнулся в седле, чуть не свалился. Лишь отдаленно слышал голоса разъезжавшихся офицеров. Было горько-горько: никто не подошел ко мне, никто не сказал ни единого слова. Боже правый! Да ведь я-то приказ и инструкцию исполнил? В точности исполнил?.. За что же?

За селом, на полях, уже играло горячее марево апрельского жадного солнца. Хризолитовыми розсыпями стелились во все стороны полосатые озимые поля, и жаворонки, как зачарованные, хрустальными голосами плели в густо-голубом небе свои дивные узоры любви. Солнце охватило меня горячим объятием так нежно и бодро, что я вдруг встрепенулся и пустил повод. Золотой понесся карьером.

Я ничего не имел против.

Прошло два дня.

Лялин командовал ротой. Совершенно неожиданно—командовал неплохо. Я не узнавал своего беленького, кудрявого „дитю Ляльку“, и был очень рад такой находке. Но частенько ловил себя на том, что радость—не в радость... Кошки скребли и скребли...

Мой Иван, повар и кондитер, кормил ме-

ня так, что за два дня бездействия я почувствовал, что полнею и тяжелею. Он все ворчал про „скаженое начальство“, о том, что „нема правды на свити“, и угождал мне все больше. По вечерам, когда я выходил посидеть на завалинку хаты, Иван присаживался подле на корточках, и шептал новости дня. Угрожающего ничего не было. Но кошки все множились в моей молодой впечатлительной душе. То мне мерещилось отрешение от должности ротного командира—от моей роты! с которой сделан двухгодичный боевой путь!.. То я совершенно падал духом, воображая себя разжалованным в рядовые, и притом—в своей же роте... Нет! Тогда—только пуля...

Лишь изредка прилетал ангел утешения в виде разумного разсуждения о случившемся, и тогда не только появлялась надежда на благополучный исход, но просто становилось смешно: зачем кручиниться?—все ясно: виноват тот, кто не подал предупреждения частям, а не вся копусная артиллерия и я с нею: ведь враг коварен, обманывал нераз, и мы только делали свое дело. Неужели Брусиллов... И тот-час же я ловил себя на мысли, что начнись все снова,—я сделал бы то же и так же, с начала до конца! И эта мысль то повергала снова в уныние, то вызывала прилив того бодрого настроения, с каким я палил недавно залпами.

На третий день вечером Иван таинственно поставил на стол бутылку в розовой тонкой бумаге, тот-час же вытянулся и отрапортовал:

— Так шо, ваша благородия, со штабу полка... Прынис Юценко.

Юценко—командирский денщик; но Иван сам, порой, делал сюрпризы...

— А ты не врешь?

— Никак нет.

Оказалось—настоящий „Мартель“...

Чудеса! Вот он „Берендей“!..

Однако, вскоре нахлынула снова „дымовая завеса“, и ни скрытая ласка Берендея (точно к покойнику...), ни его прекрасный напиток не настраивали меня на лад: я попал „в штопор“.

В тот же вечер, на завалинке, Иван прошептал:

— Так шо... майбудь, узавтра рано поидете у Ровно...

По моей груди проползла холодная жаба: в Ровно был штаб армии, грозный Брусиллов... Вот оно, начинается!

— Это откуда вести?

— Юценко...

О денщикья почта! Сколько неоднократных радостей, но и сколько черных неприятностей вроде неожиданных ночных походов в слякоть или в пургу, или наступлений, или отступлений приносила ты далеко загодя до приказов! Тайна твоя

не открыта. Но верность твоя нам известна...

Ночь прошла беспокойно. Все мне мерещился стук в окно... И...

И на разсвете получил приказ: немедленно отправляться в штаб армии; явиться надлежало начальнику штаба ..

... И вот я в штабе армии...

... И вот я перед начальником штаба...

Как мне показалось, генерал с некоторым любопытством взглянул на меня, но сухо сказал:

— Потрудитесь подождать, поручик, в приемной.

Я очутился в десном вагоне-приемной. Здесь суетились штабные офицеры, чопорно шептались какие-то сестры милосердия, врачи с красными крестами на рукавах; изредка проходили писаря. Все это было для меня, коренного фронтовика, скучно, ново и чуждо.

Ждал я около часа уже, но ничто не предвещало развязки. И что за этот час было пережито—лучше не рассказывать. Дошло под конец до того, что, забравшись в угол, я осмотрел браунинг и ввел боевой патрон: позора не вынесу! В углу стоял тихий скромный священник, и тихо смотрел на меня углубленными глазами со скорбной, едва заметной улыбкой. Этот взгляд тревожил меня почему-то больше всего...

В приемной вдруг все смолкло. Люди остановились где кто был и почтительно вытянулись. В двух шагах передо мной я

неожиданно увидел небольшого суховатого Брусилова. Вплотную за ним продвигался начальник штаба и пристально смотрел на меня.

Я вытянулся, щелкнул каблуками и замер. Брусиллов скользнул взглядом по поим погонам, по Владимиру на груди, и остановился в полусаге:

— Вы командир шестой роты Прагского полка?

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

Генерал лишь две-три секунды поглядел мне в глаза, протянул руку, и, с мимолетной улыбкой во взоре, пожал мою руку:

— Ваша рота стреляет лучше всего корпуса. Передайте роте: молодцы.

Я захлебнулся каким-то словом... Генерал отошел к сестрам.

Начальник штаба весело сверкнул глазами.

Нужно ли рассказывать, что было потом?

Думаю, что бесполезно. Все равно никакими словами не передашь того неповторимого состояния, в каком я скатился со ступенек штабного вагона, и, вскочив на коня, помчался вон из душного городка.

Все кошки бежали прочь!

Трубили ангелы!!

А широкие русские поля дышали таким ароматом, какого я не ощущал никогда ни раньше, ни потом.